



С. В. НИКОНЕНКО

**Реальность, символы и анализ.
Философия по ту сторону постмодернизма**

<Фрагменты>

**Генезис лингвистического идеализма:
Мур и Витгенштейн**

В рамках настоящего исследования мы не ставим целью документально точное воссоздание сложных взаимоотношений двух британских философов, к тому же мы это уже сделали в другом месте¹. На диспуты и споры Мура и Витгенштейна о реальности и языке мы попытаемся посмотреть с точки зрения дилеммы реализма и антиреализма. Совместив теорию языковых игр с антиреализмом, Витгенштейн открыл мощное оружие для борьбы с реализмом, причем во всех трех исторических формах. И хотя Мур находился в проигрышной позиции философа, на которого критически нападали, он был интересен тем, что был первой фигурой в истории, попытавшейся защитить реалистическое движение. Поэтому на определенном этапе исследования мы будем покидать собственно идеи Мура и Витгенштейна, возвращаясь к более широкой теме противостояния реализма и антиреализма.

Уже в «Логико-философском трактате» Витгенштейн приходит к выводу, что созданный им идеальный язык не может описать то, что Кант назвал сферой практического разума и что сам Витгенштейн назвал «мистическим». Согласно логической системе «Трактата», язык служит средством точного описания фактов, выполняет задачу *высказать* содержание мира. За пределами этого идеального языка оказываются, по определению, два рода высказываний:

1. Высказывания не о фактах.
2. Высказывания, которые не могут быть приведены в строгую логическую форму.

¹ См.: *Никоненко С. В.* Английская философия XX века. СПб.: Наука, 2003. Раздел 4.1.

Предметом первого рода могут послужить высказывания о красоте; предметом второго рода — высказывания о субъективных переживаниях.

В результате уже в «Трактате» Витгенштейн убежден в конечности, ограниченности идеального языка. «Мистическое» оказывается тем, о чем нельзя строго высказаться, но тем не менее оно есть, и оно ограничивает сферу фактического. Это затруднение, неспособность языка высказать *все* содержание мира, заставляет Витгенштейна отказаться от теории логического анализа и перейти на позиции лингвистического плюрализма. Если мир настолько сложен, что не может быть высказан в рамках *одного* языка, то он может быть высказан в *нескольких* языках, высказан различными способами.

Сохраняя в поздней философии идею языка как средства *описания*, Витгенштейн совершенно меняет значение самого термина «описание». Описание уже не понимается как ситуация соответствия высказывания фактам. Описание становится автономным; оно лишается каких-либо редукативных свойств. Когда Витгенштейн предлагает перейти от объяснения к «простому описанию», он устанавливает принцип независимости языка от всего, что не является языком. Например, мы говорим, что Наполеон был императором Франции. Почему мы в этом уверены? Потому что это можно *узнать, выяснить и удостовериться*. Смысл тезиса Витгенштейна сводится к тому, что нам не нужно идти *дальше*. Следует двигаться не к недоступной платоновской идее и не к расселовскому точному описанию. Необходимо остановиться на том, что просто и достоверно. По Витгенштейну, если дверь закреплена на петлях, то я знаю это и могу ответить, откуда я это знаю, что не включает в себя ни вопрос о природе знания самого по себе, ни вопрос о соответствии содержания высказывания фактам. В «Недоросле» Фонвизина Митрофанушка ассоциировал имя прилагательное со старой дверью, которая приложена к стене, и в рамках своего языка понимал имя прилагательное именно так. Знание, уверенность, описание приобретают тем самым не теоретический, а практический характер. Они неотделимы от уверенности, сообщества и самого языка.

Однако Витгенштейн не стремится психологизировать язык, как сделали некоторые его последователи. Он пытается сделать критерии достоверности обыденного языка не менее логически строгими и точными, чем критерии идеального логического языка. При этом, по замыслу Витгенштейна, обыденный язык является гораздо более «исконным», точнее отображающим реальность и жизнь. Получается, что такие важнейшие понятия

обыденного языка, как «языковая игра», «значение слова», «правило», «достоверность» и т. д., выступают не просто альтернативой понятиям «точное описание», «факт», «однозначность», «истина» и т. д., они должны *заменить* их. Тем не менее, вопреки Витгенштейну, мы докажем, что это — невозможное предприятие, если не порывать с принципом реализма и логической строгости. Витгенштейн *должен* был стать лингвистическим идеалистом, как бы он того ни хотел.

Узел проблем завязался вокруг многочисленных споров Витгенштейна и Мура, бывших коллегами по Кембриджскому университету. Когда однажды они спорили о том, что такое дерево, обнаружилась диаметрально противоположная разница в вопросе о значении, которое вкладывается в это слово. Приведем эти две позиции:

1. *Мур*: Я вижу объект, который совершенно точно существует. На моем языке я могу назвать его «дерево». Его можно было бы назвать и по-другому. От этого ведь дерево не перестало быть тем же самым деревом. Поэтому слово, с его образными и неточными значениями, философ использует как понятие, наделяя его одним значением по принципу точности описания объекта.

2. *Витгенштейн*: Прежде всего, я вижу дерево, которое воспринимается мною, как нечто, которое я научился называть словом «дерево». Если я скажу о дереве «Это коза», меня не поймут. Причина тут не в том, что объект под названием «дерево» не похож на объект под названием «коза». Дело в том, что значение слова «дерево» зафиксировано так, что неприложимо к козам. При этом, разумеется, вовсе не обязательно существование самого дерева.

Фотография героев этого знаменитого спора донесла до нас облик усталого, разочарованного Мура и нападающего, фанатично уверенного в своей правоте Витгенштейна. От чего же так «устал» Мур? Пожалуй, от желания Витгенштейна переоценивать так называемые грамматические критерии и, как следствие, сами возможности языка. Все эти возможности, такие как синонимы, омонимы, антонимы, метафоры, эмфазы и т. д., прекрасны и необходимы, но никак не в сфере строгого анализа. В рамках установления значения необходимо как можно точнее определить отношение «слово — объект», как способ отсылания слова к объекту. По Муру, объективное значение слова «дерево», наличие деревьев самих по себе, является гораздо более значительным фактором, нежели возможность различных способов употребления самого слова. В этой точке спор, таким образом, доходит до предельной эпистемологической и онтологической заостренности, восходя к поставленному Платоном в «Кратиле»

вопросу: отражает ли язык сущность всех вещей, или это случайный набор звуков? Витгенштейн, на наш взгляд, решает платоновский вопрос идеалистически. Рассуждая об особых законах языка, выводя языковой плюрализм и элиминируя критерий соответствия, Витгенштейн саму реальность рассматривает только *сквозь призму языка*, только как материал, о котором можно высказаться. Да и есть ли тут реальность? Не устранена ли она Витгенштейном, не превращена ли в пустую фикцию, свойство частных языков? На наш взгляд, Витгенштейн не может на это ответить; и часть его величия, несомненно, в том, что он, в отличие от своих эпигонов, не смог с легкостью отказаться от принципа реализма. Витгенштейн тем самым только потенциально, в возможности, движется по направлению к последовательному лингвистическому идеализму.

Считая реализм Мура утопическим, Витгенштейн упрекает его в том, что, *уже обладая* знанием, Мур ищет для него оснований. В результате он не может прийти к чему-либо иному, чем к формально-логическому принципу соответствия. От него ускользает «последняя», глубокая достоверность; он ее *не там* ищет. Корень подобной критики, на наш взгляд, состоит в отождествлении знания и уверенности в философии Витгенштейна. «Что, если в предложении Мура “Я знаю” *заменить* (курсив мой. — С. Н.) на “Я непоколебимо убежден”?»² — предполагает Витгенштейн. Реконструировав этот тезис Витгенштейна применительно к спору о дереве, получим два новых тезиса:

1. *Мур*: Я знаю, что это дерево. Мое знание обусловлено природой *дерева*, и только потом — содержанием знания и словом.

2. *Витгенштейн*: Я непоколебимо убежден, что это дерево. Мое знание обусловлено *моей уверенностью* в том, что слово «дерево» обычно относится к деревьям.

Таким образом, мы видим, как «непоколебимая убежденность» превращается в классический принцип привычки Юма, но с одним важным отличием. Если Юм полагал, что постоянно повторяющиеся одинаковые впечатления порождают в мозгу привычку ожидать эти события, то Витгенштейн полагает, что постоянное употребление слова, особенно слова с устоявшимся значением, заставляет нас связать его употребление с деревом, формируя не эмпирическую, а *лингвистическую* привычку. В духе такой интерпретации фразу «Я непоколебимо убежден» можно понимать так: «Я привык, что я и окружающие относят

² *Витгенштейн Л.* О достоверности. 86 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

слово “дерево” к определенным объектам». Таким образом, слово и объект связаны на основании устойчивой лингвистической привычки, сформулированной и закреплённой в собственном языке. Сама объективность тем самым зависит от языка и задается им.

По Витгенштейну, человек, владеющий данным языком, всегда поймет, как другой носитель языка знает это. Имея сходные лингвистические привычки, он полагает, что подобные привычки есть и у собеседника. При этом лингвистические привычки и практические навыки не обязательно должны выходить к объективному миру, не обязательно должны описывать реальность. Открывая выражения, лишённые описательного содержания («Воды!», «Прочь!» и т. д.), Витгенштейн полагает, что вполне возможна «безобъектная» структура языка, что, несомненно, релятивизирует саму реальность. Например, люди XV в. полагали, что система Птолемея истинна, а люди XIX в. ее отвергали. Получается, по Витгенштейну, что и те, и другие в рамках своих языков были правы, поскольку способ употребления таких слов, как «земля», «солнце», «вращение», был четко и правильно зафиксирован.

Однако тут встает локковский вопрос. Рассуждая о формальной логике, Локк отметил, что суждения о лошади и единороге одинаково истинны, после чего задал вопрос: зачем такая истинность? Аналогично можно спросить Витгенштейна: зачем такая правильность? К чему ведет признание равной правильности языка Птолемея и языка Коперника? Несомненно, только к лингвистическому идеализму и релятивизму, к превращению языка в замкнутый холистический дискурс. Витгенштейну остается сделать только маленький шаг до полного идеализма, допустив то, что реальность задается языком, что само бытие вещи устанавливается в языке. Так, в принципе, делает Хайдеггер, который пишет: «Где не хватает слова, там и нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием»³. Элиминируя истину, отказываясь от объективного смысла языка, Витгенштейн вынужден признать, что законы языка не зависят от законов реальности. Конечно, в отличие от Хайдеггера, он не разделяет лингвистического солипсизма, однако не может что-либо предложить взамен, кроме учения о языковых конвенциях.

Тем не менее языковые конвенции могут и не описывать объективные свойства вещей; они могут основываться на иллюзиях, мнениях и предрассудках. Витгенштейн весьма озабочен подобным «мусором», против которого нельзя выставить заслон.

³ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 303.

Ведь тогда язык перестанет быть «живым», «употребляемым»; он станет формальным и мертвым. Здесь Витгенштейн надеется на «дарвинистский» критерий конкуренции языков, в результате которой выживает «самый объективный» язык. Однако здесь вырисовывается иррациональный характер самого процесса отбора наилучшего языка, который зависит от лингвистических привычек и «лингвистической удачи» (перефразируя принцип моральной удачи Уильямса). Таким образом, вопрос о наилучшем языке для описания того или иного объекта или явления, отпущенный «на самотек», не приводит к тем результатам, на которые надеется Витгенштейн. Он переоценил как строгость любого отдельного языка, так и его описательную силу.

Обычно известный «уткозаяц» Витгенштейна приводится как типичный пример, в котором Витгенштейн критикует принцип соответствия Мура. Если посмотреть на фигуру утки сбоку (повернуть ее набок), то получится голова зайца. Следовательно, мы не можем сказать, чем является эта фигура, поскольку, определяя объект соответствия, попадаем в антиномию. На наш взгляд, Витгенштейн переоценивает роль лингвистического воображения. В отличие от Витгенштейна, Мур не будет рассматривать картинку сбоку или в анфас, а будет исходить из *реальной формы и контура фигуры*. В этом случае как способ рассмотрения этой фигуры, так и название этой фигуры оказываются вторичными, что можно отразить в следующей таблице:

	<i>Взгляд прямо</i>	<i>Взгляд сбоку</i>
<i>Мур</i>	«уткозаяц»	«уткозаяц»
<i>Витгенштейн</i>	утка	заяц

Слово «уткозаяц» применительно к Муру заключено в кавычки, поскольку для него совершенно неважно, как назвать эту фигуру (хоть «динозавр»). Тем самым пример Витгенштейна годится только для психологического уровня восприятия. На абстрактном, логическом уровне проблема исчезает, как бы Витгенштейн ни убеждал в этом. Так, и для математика куб — это соответствующая объемная фигура, а не что-либо «каменное», «гранитное» и т. д.

Критикуя Витгенштейна, мы не стремимся принизить его заслуги в области современной философии языка. Скорее, мы видим в нем абсурдного героя, который, стремясь «углубить» язык, на самом деле оторвал его от реальности, вплоть до исключения самой реальности из сферы философии языка. Когда слово, попадая в другой язык и в другую среду, совершенно меняет свое значение, это уже не похоже на «уточнение», за которое

ратует Витгенштейн. Это похоже на переописание, радикальный пересмотр. Отказавшись от единого логического критерия точности, уточнения и значения, Витгенштейн впадает в лингвистический психологизм, отдавая значения слов и понятий во власть *лингвистических привычек*. Когда в «уткозайце» человек видит утку или зайца, это вполне допустимо в рамках обыденного представления и языка, но никак не в рамках философского и научного языка. Философский и научный язык тем и отличается от обыденного языка, что он абстрактен. А это не всегда плохо и «безжизненно», поскольку, как верно отметил Гегель, мы здесь выходим за пределы конкретно-чувственного уровня представления и переходим к абстрактному мышлению. Индейский вождь Апонкачана, упоминаемый в локковском «Опыте о человеческом разумении», не знает идеи Троицы, пока его не научат. Профан, смотрящий на «уткозайца», будет наивно видеть в фигуре зверюшку, если не знаком с основаниями геометрии. Таким образом, можно заключить, что «уткозаяц» Витгенштейна не сумел профанировать, низвергнуть ни принцип муровской теории соответствия (и вообще позицию метафизического реализма), ни приоритет науки в решении этого вопроса.

Справедливости ради нельзя не отметить важность обнаруженных Витгенштейном критериев обыденного языка. Любой язык в самом деле склонен порывать с действительностью. Формируясь и постепенно омертвляясь, язык все более начинает напоминать замкнутую холистическую систему, которая иллюзорно содержит в себе критерии самой реальности. На самом деле это коллективный обман, который является следствием власти языковых привычек в Театре Юма. Геббельс, устраивая массовые митинги, отмечал, как важно для человека быть среди ста тысяч людей, думающих так же, как и он. Что же говорить о разных обыденных языках, имеющих подчас миллиардную аудиторию. Эти языки начинают диктовать свои критерии самой реальности, и только немногие из людей достаточно разумны, чтобы встать выше этой власти. Идеалистически допуская приоритет критериев языка по отношению к критериям реальности, Витгенштейн создает благодатную почву для антигуманистических течений и принципов, вплоть до крайнего лингвистического релятивизма и коммунального солипсизма.

В комментаторской литературе о Витгенштейне распространено мнение, что он отвергал связи между языком и действительностью, переводя критерии «уверенности» исключительно в область языка. Как мы отметили, это мнение во многом соответствует действительности, особенно философской перспективе

лингвистической философии. И тем не менее мы считаем это мнение упрощенным, не отражающим внутренней трагичности мировоззрения основоположника лингвистического идеализма. Витгенштейн не был уверен в истинности своих поздних идей, не публиковал их. Витгенштейн все время искал «логику» в обыденном языке. Витгенштейн все время возвращался к Муру и Расселу, стремясь установить новые критерии реализма взамен принципов метафизического реализма и логицизма. «Необоснованная вера», «непоколебимая убежденность» и другие принципы Витгенштейна все же позволяют выделить иррационалистические моменты в его лингвистическом идеализме, неуверенность в самой возможности достоверного знания и понимания языка.

Иллюзия полноты языка, убеждение в его автономном существовании оказываются противоречивым достижением, в чем убедился и сам Витгенштейн. В одном месте он ставит проблему: до каких пор можно спрашивать? Формально это возможно до бесконечности, но реально чрезмерные уточнения будут ненужными и праздными. Философ, который пишет для себя и сам по себе, никого не может научить своей метафизической позицией: она чужда языку читателя. Лишенная социальных и исторических корней метафизически ориентированная философия с ее искусственным языком становится все более и более «праздной». Витгенштейн убежден, что внимание к языку закончит с формализмом, откроет реальность в новой, более четкой перспективе. Будучи убежден в том, что реальность обретается только в языке, Витгенштейн все более и более не нуждается во внеязыковой реальности. В одном месте он отмечает, что сомневается в том, что его зовут Людвиг Витгенштейн. Это закономерно, поскольку ни один язык, ни одно имя уже не выходит к реальности, в результате чего даже реальность собственного имени может быть оспорена. Вместе с тем это закономерно еще и потому, что достоверности, которую ищет Витгенштейн, уже не существует. Проблема Витгенштейна в том, что в поисках более глубоких критериев реализма и истинности, чем те критерии, которые были выведены метафизическими реалистами, Витгенштейн не только не нашел их, но, наоборот, полностью потерял. Принцип реализма, который Витгенштейн отбросил как формально-логический принцип теории идеального языка, оказался гораздо более широким. Для того чтобы сохранить последовательность, Витгенштейн *вынужден* был создать идеалистическую эпистемологию, в которой язык оказался новой, более «глубокой» и «близкой к жизни» реальностью. В результате реальность мира исчезла. Можно сказать, что Витгенштейн

вполне согласен с Ницше, который отметил: «Насчет того, что такое “достоверность”, может быть еще никто не удостоверился в достаточной степени»⁴. <...>

Только язык

<...>

Общий характер зависимости любого знания от языковой формы в лингвистическом идеализме принимается без доказательств, как факт человеческого существования. Например, Витгенштейн, стремящийся к предельно точному обоснованию любого положения своей философии, не может доказать это положение. «Ты должен задуматься над тем, что языковая игра есть, так сказать, нечто непредсказуемое. Я имею в виду: она не обоснована. Она не разумна (или неразумна). Она пребывает как наша жизнь. И понятие знания сопряжено с понятием языковой игры»⁵, — пишет Витгенштейн. Автономность языка, его «непостижимость» создают иллюзию «непознаваемости» языка, когда философский анализ может только «описывать» язык, а не задавать его законы, подобно физиологу, который описывает процесс дыхания, будучи не в силах его изменить.

На наш взгляд, учение Витгенштейна о непостижимости (и, как следствие, непогрешимости) языка выступает *экзистенциальной* формой доказательства принципа «только язык». Человек изначально ставится в зависимость от языка, когда он либо подменяет реальность языком, либо выходит к реальности через язык. Лингвистический идеализм, таким образом, отказывается от идеи особого доступа к реальности. В споре о дереве Мур и Витгенштейн говорят на разных языках, поскольку не питающий лингвистических иллюзий реалист Мур видит в языке только подсобное средство познания, вторичное по отношению к самому познанию. Витгенштейн же, допуская экзистенциальную трактовку языка, видит в «дереве» некий неэлиминируемый символ, разрушение которого повлечет за собой разрушение самобытности этого языка. Так, элиминация из языка Любителей сказок положения о летающих коврах-самолетах повлечет за собой разрушение этого языка. Любитель сказок в этом контексте, если перефразировать Достоевского, останется скорее с языком, нежели с истиной.

Вопреки Витгенштейну, мы считаем подобную озабоченность несколько чрезмерной, а веру в «непостижимость» языка ирра-

⁴ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 304.

⁵ Там же. 558–559.

ционалистическим допущением, которое в достаточной степени произвольно. Приводя в пример «ювеливаллера» Л. Кэрролла, Витгенштейн доказывает, что в Зазеркалье вещи выступают такими, какими являются слова. Это весьма слабый тезис, поскольку крайне трудно доказать, что наш «ювелир» и их «ювеливаллер» не обозначают человека одной и той же профессии. Конечно, как отметил Куайн, при переводе возможны логические и лингвистические затруднения, но ведь здесь-то мы не задаемся целью перевода и даже целью сопровождения языков. Ставя вопрос о референции, мы можем установить, что «ювелир» и «ювеливаллер» обозначают одну и ту же профессию, что позволяет стереть художественные и концептуальные различия. Другое дело, что мы не должны, подобно Расселу, превращать анализ в средство нивелирования психологических, лингвистических, культурных и других отличий, видеть в таком языке язык математики и т. д. На наш взгляд, достаточно поставить вопрос о референции, заранее договорившись о праве каждого языка на уникальность описаний. Практика жизни, на которую так любят ссылаться лингвистические идеалисты и другие сторонники современного релятивизма, доказывает, что бытие вещей и убежденность в наличии относительно неизменных законов реальности может быть мостом, на котором налаживается коммуникация самых разных языков. Витгенштейн, на наш взгляд, совершил ошибку, оторвав знак от объекта только на том основании, что ошибочно отождествление знака и объекта. Имея свои законы и, прежде всего, символический характер, язык, тем не менее, может быть холистической системой только в формальном, но не в содержательном аспекте. Позитивным содержанием нашей критики лингвистического идеализма, которая будет развита в следующих главах, является доказательство возможности выхода любого языка к реальному миру и, следовательно, опровержения тезиса «только язык».

Пока же привлечем пример самого Витгенштейна. Он пишет: «Представим себе человека, который описывает шахматную игру, ничего не говоря ни о том, что существуют шахматные фигуры, ни о том, каким образом они ходят. Его описание игры как естественного явления будет в этом случае неполным. С другой стороны, мы можем сказать, что он полно описал более простую игру»⁶. Витгенштейн, несомненно, прав: любое изменение правил одного языка может породить новый язык. Так, из шахмат можно строить игрушечные крепости, бросаться ими и т. д. Но вместе с тем Витгенштейн остается на поверхности, абсолютизируя

⁶ Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999. С. 5.

правила. На самом деле эти две «игры» по-прежнему могут быть отнесены к одному и тому же объекту — шахматным фигурам. Шахматные фигуры являются *теми же самыми фигурами*, как их ни используй: лишь воображение превращает их в разные символы и наделяет разными функциями. Когда мы говорим, что в двух разных играх присутствуют *разные* шахматы, мы тем самым, в силу доверия символизму языка и воображения, начинаем *переносить* сами свойства языка на реальные объекты. Поэтому, если быть реалистами, следует подправить витгенштейновский тезис, который будет выглядеть так: шахматные фигуры могут быть использованы в самых разных играх. Что же касается самих этих игр, то они не носят «чисто языкового» характера. Вопреки Витгенштейну и теоретикам лингвистического идеализма, можно трактовать эти игры не как конвенционально установленные «правила», а как объективные логические предписания, которые не могут быть произвольно изменены. Так, в любой спортивной игре (включая и шахматы) существуют арбитры, карающие за любые отступления от ее правил. Эти правила известны самим игрокам, судьям и болельщикам, но объектом их референции выступает не акт коммунального согласия, а сама игра как реальное действие. Таким образом, лингвистические идеалисты умышленно «не идут» в область эпистемологического анализа. Оставаясь «при языке», они идут на поводу его значимых, но, в сущности, локальных законов.

Лингвистические идеалисты осознают, что последовательное применение принципа «только язык» должно «отсекать» все другие возможные принципы. В связи с этим некоторые из них сознательно профанируют идеи конкурентов, особенно рациональное познание. Рациональность, вообще, является «неудобной» категорией для лингвистического идеалиста; ее надо понизить в статусе, свести до языкового придатка, превратить в то, что Э. Геллнер метко окрестил «бесконечной инфантильной регрессией». Занимаясь вольными переописаниями, лингвистические идеалисты вслед за иррационалистами и прагматистами населяют страницы своих трудов рассуждениями о детях, дикарях, фольклорных персонажах, литературных героях и т. д., наподобие того как все придворные театральные постановки XVIII в. восходят к древним богам и героям. Все эти персонажи, некоторые из которых стали нарицательными (народ Азанде, Винни-Пух, Элизабет Беннет и др.), объединяет одно: *они только говорят*. При этом, безусловно, они мыслят, но их мысль не отделяется от языка, не существует в форме изолированной «чистой мысли». <...>

Представим себе, что дети не отправились в школы и университеты, а остались в рамках традиционной культуры своего народа. Они превращаются в крестьян и туземцев, поддерживающих язык и культуру примерно на одном уровне. Таких туземцев выводят на сцену многие лингвистические идеалисты, например, У.-В. Куайн и П. Уинч. Последний приводит в пример некий народ Азанде, для которого язык преследует, скорее, социальные и коммуникативные, нежели когнитивные и дескриптивные цели. Уинч настаивает на том, что «антрополог» не может подходить к языку этого дикарского племени, используя правила своего языка.

Это достаточно сильный ход, один из самых больших козырей лингвистических идеалистов, выявленный уже Дьюи и Витгенштейном. Вопрос заключается в том, что *контекст любого языка не может быть контекстом всех языков*. Бертран Рассел в «Человеческом познании» отметил, что точный, логически выверенный язык науки бесполезен во многих практических областях, например, для выражения человеческих чувств и переживаний. Точность языка, таким образом, не является для него критерием всеобщности. Языки поэтов, теологов, дикарей не могут быть «научно», теоретически представлены. Сальери в трагедии Пушкина произносит монолог, где отмечает, что он всю жизнь изучал музыку, постиг ее во всех тонкостях, «музыку разъял, как труп». А Моцарт, «гуляка праздный», эту гармонию просто воплотил. Получается, что язык музыки не может быть постигнут извне; он может быть постигнут только в своей внутренней сути.

Несомненно, неудача идеального языка науки (например, языка «Principia Mathematica») как языка, на котором можно выразить все содержание сознания и реальности, свидетельствует о несостоятельности претензий метафизического реализма на возможность «прямого», привилегированного доступа к реальности. Но лингвистические идеалисты, критикуя этот тезис метафизических реалистов, абсолютизируют противоположную крайность — они изолируют различные языки, ставят между ними непреодолимые преграды. Если метафизический реалист ложно убежден, что он всегда поймет дикарей, поскольку они одинаково представляют объекты, то лингвистический идеалист не менее ложно убежден, что он *никогда* не поймет дикарей, если на время не «перевоплотится» в дикаря.

На наш взгляд, истина лежит вне каких-либо односторонних положений. Возражая Уинчу, можно признать, что некоторая коммуникация по поводу конкретных предметов (бус, шкур,

консервных банок, золота) все же возможна, в чем нас наглядно убедили конкистадоры и колонизаторы. В принципе, если мы не держимся за чисто лингвистический пиетет по отношению к «суверенности» и «индивидуальности» языка, можно наладить коммуникацию между самыми разными языками. У Витгенштейна есть пример, когда Мур попадает в племя дикарей, где оказывается не в состоянии проявить свой здравый смысл. На наш взгляд, Мур, который никогда не разделял принципа «только язык», без труда «изменит» своему английскому, научному и метафизическому языку, попытавшись перейти на язык низшего или примитивного уровня цивилизации. Бусы потому и приводили дикарей в восторг, что они были разноцветными и необычными, тогда как золото давно стало в их среде банальным. Колонизаторы, поняв, что дикарь ценит бижутерию выше золота, сразу же приспособились, демонстративно показывая, что и в Европе критерии ценности те же самые. Итак, мы можем видеть в языках разные, часто очень разные символические системы, предполагая, что *вне языка* существуют определенные сущности, *по поводу которых* эти языки могут совпадать. При этом мы и не пытаемся, следуя рекомендациям лингвистических идеалистов, решать затруднения только «лингвистическими» средствами. Как человек, повредивший ногу, вынужден в период выздоровления пользоваться костылями, так и наша позиция предполагает, в случаях необходимости, отказ от автономности языка и выход за его пределы. Выражаясь строже, мы полагаем, что можно общаться не только с помощью языка, но можно общаться и выходя с помощью языка за пределы языка.

